

УТЕСОВ. Песня длиною в жизнь

кинороман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«ЕСТЬ ГОРОД, КОТОРЫЙ Я ВИЖУ ВО СНЕ»

МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА

Москва была еще не многоэтажная. Только семь сталинских высоток — МГУ, МИД и МПС, гостиницы «Ленинградская» и «Украина», дома на Котельнической набережной и площади Восстания — торчали, как памятники ушедшей эпохи. Москвичи считали их «вставными зубами», уродующими город. Так когда-то французы тоже на дух не принимали Эйфелеву башню. А потом творение Эйфеля стало неотъемлемым символом Парижа. Станут такими же символами Москвы и эти острроверхие сооружения, но не сейчас, в шестьдесят пятом, а значительно позже.

Пока же на московских окраинах росли кварталы «черемушек» или «хрущоб» — убогих блочных пятиэтажек. Которые тогда новоселам казались вовсе не убожеством, а счастливейшим разрешением жилищной проблемы, подарившим тысячам москвичей их мечту — отдельную квартиру. С крохотными комнатками, низкими потолками, совмещенным санузлом, но — отдельную, свою, и это было счастье!

«Хрущобы» строились, а самого Хрущева уже не было. Вернее, еще жил-поживал Никита Сергеевич, но уже не всесильный Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР, а рядовой пенсионер, которого полгода назад съели — скушали, схрумкали и не подавились — верные друзья и ближайшие соратники.

Отставкой Хрущева закончилась великая политическая «оттепель», и начался грядущий «застой» под руководством Брежнева.

А в остальном, не считая высоток и «хрущоб», Москва оставалась прежней — старинный центр, Красная площадь, башни Кремля, мосты на Москвой-рекой. На вечерних слабоосвещенных улицах было много людей, но еще совсем мало машин. По одну сторону Большого Каменного моста на месте бывшего (и через тридцать лет — будущего) Храма Христа Спасителя пока еще размещался бассейн «Москва», а по другую — знаменитый «дом на набережной» с Театром эстрады.

Туда, в театр, мы еще придем, а пока заглянем в уже не менее знаменитый дом — жилищный кооператив Большого театра на Каретном ряду. В этом доме жили не только певцы и балерины, но и многие известные деятели культуры других жанров.

Жил здесь и Леонид Осипович Утесов.

И сейчас в его квартире из шикарного прибалтийского приемника «Ригонда» звучит знакомая каждому советскому человеку песня «Дорогие мои москвичи» в исполнении дуэта Утесова и его дочери Эдит:

*Затихает Москва, стали синими дали,
Ярко блещут кремлевских рубинов лучи.
День прошел, скоро ночь. Вы, наверно, устали,
Дорогие мои москвичи.
Можно песню окончить простыми словами,
Если эти простые слова горячи.
Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами,
Дорогие мои москвичи!
Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье?
Чем наградить мне вас за вниманье?
До свиданья, дорогие москвичи, доброй ночи,
Доброй вам ночи, вспоминайте нас...*

Леонид Осипович — уже грузный, но еще крепкий, уже седеющий, но с еще молодыми глазами, — стоит посреди комнаты, тоскливо подчиняясь рукам шустрого портного, заканчивающего подгонку на нем нового костюма.

Перед старинным, карельской березы, трельяжем наносит последние косметические штрихи сорокалетняя и, увя, слегка увядающая красавица — дочь Дита.

В углу застыл с несколькими галстуками на согнутой руке все еще невероятно привлекательный, с латиноамериканскими жгучими глазами и усами, Алик — муж Диты, кинорежиссер-документалист Альберт Генденштейн.

*А когда по домам вы отсюда пойдете,
Как же к вашим сердцам подберу я ключи,
Чтобы песней своей помочь вам в работе,
Дорогие мои москвичи?
Синей дымкой окутаны стройные здания,
Ярче блещут кремлевских рубинов лучи...
Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания,
Дорогие мои москвичи!*

Утесов вдруг нервно вскрикивает:

— Дита, выключи кричалку, я уже слышал это произведение!

Рука Диты, подносящей щеточку к глазу, чуть вздрагивает: она знает, очень хорошо знает, от кого у отца эти дурацкие словечки: «кричалка» вместо радио, «чесалка» вместо расчески, «обалденочка» вместо водки... Но Дита ничем не выдает свое знание, а послушно встает, чтобы выключить приемник. Однако песня уже закончилась, и звучит голос диктора: «Конечно, песня „Дорогие мои москвичи“ дорога не только москвичам, но и всем советским людям, которые поздравляют всенародно любимого артиста Леонида Осиповича Утесова со славным юбилеем — семидесятилетием!»

Все верно, дожил. Семьдесят. Когда? Как столько лет пролетело? Не заметил. Просто жил, жил, жил — и дожил. А диктор по радио продолжает заливаться бессмысленным со-

ловьем: «В этот радостный и знаменательный для каждого человека день человек оглядывается на свою человеческую жизнь и по-человечески задумывается: что же сделано за эти семьдесят лет...»

— Эту цифру я тоже уже слышал! — торопит Утесов дочь.

Дита наконец выключает приемник. Но отец не успокаивается:

— И закрой простудилку!

И снова глаз Диты чуть дергается, реагируя на очередное дурацкое словечко. Но она переспрашивает ровным голосом, как ни в чем не бывало:

— Что, папа?

— Я говорю, закрой форточку! На улице прохладно!

— О, есть такой анекдот! — оживляется портной.

Этот портной — не просто так себе портной. Этот портной — Исаак Соломонович Затирка. Фамилия такая. Не просто фамилия — легенда.

Дело в том, что во времена тотального советского дефицита деньги не решали ничего. Все решали связи. Проще и грубее — блат. По блату получали квартиры и поступали в институты, по блату доставали шапки-ушанки и колбасу-сервелат, по блату добывали билеты на поезд и место на кладбище...

Но был блат на уровне директора магазина, начальника ЖЭКа или кассирши в театре, а был блат на высшем уровне. Парикмахер, который делал прически женам членов ЦК КПСС, механик, который ремонтировал машины в гараже КГБ, портной, у которого шили лучшие представители творческой интеллигенции, не ниже уровня народных артистов.

Таким портным и был Затирка, человек, приехавший из Одессы, герой историй, колоритом и числом не уступающих анекдотам про Ходжу Насреддина. Например, история, свидетельствующая о том, что уже в те времена было непримиримое состязание двух столиц России — Москвы и Ленинграда. Так вот, ленинградский писатель приехал в Москву, пришел к Затирке и надменно попросил сшить ему костюм не хуже того, который ему сшил знаменитый ленинградский портной. Затирка долго и тщательно осматривал костюм ленинградца, исследовал каждый шов и пуговицу. А потом спросил: «Так кто вам шил этот костюм?» — «Я же сказал, его сшил самый известный портной Ленинграда!» — «Да-да, это я слышал, но кто он по профессии?»

Портной Затирка не только порождает анекдоты, но и любил их рассказывать. Вот и сейчас, после утесовской реплики про форточку, портной оживляется:

— О, есть такой анекдот!

И, не прекращая колдовать над костюмом, рассказывает, как один еврей просит жену закрыть окно, потому что на улице холодно, а жена удивляется: «Изя, что за глупости! Если закрыть окно, так что — на улице станет теплее?»

Портной хихикает. Утесов бросает на него испепеляющий взгляд:

— К вашему сведению, товарищ Затирка, бог сотворил мир за шесть дней. А вы возитесь со штанами целый месяц!

Портной насмешливо парирует:

— Так вы таки посмотрите на этот мир — и на эти бруки!

Честно говоря, Утесов крыть нечем. Красавец-зять не выдерживает пассивной роли наблюдателя и прикладывает к пиджаку тестя полосатый галстук:

— Этот, по-моему, в тон... Советую...

— Алик, советуй своей жене! А я на сцене всегда в одном и том же галстук!

Вообще-то, Альберт про это знает. И все близкие знают, что Леонид Осипович почти всегда, особенно на ответственные выступления — а уж сегодня куда ответственней! — надевает один и тот же залоснившийся от многолетнего употребления черный галстук.

— Талисман? — догадывается словоохотливый портной. — Знаете, у меня тоже был талисман: старая зингеровская иголка. И вы не поверите, но когда я эту иголку потерял...

Последствия этой потери остаются неясными, так как звонят в дверь. Утесов взволнованно вскрикивает:

— Алик, что ты стоишь, открой уже!

Альберт уходит и возвращается с кипой телеграмм, читая их на ходу:

— От Сыктывкарской филармонии... От госпиталя Министерства обороны... Просто земляки из Одессы, без подписей... Команда эсминца «Дерзкий»...

Утесов слушает поздравительный перечень раздраженно и с явным напряжением. Дита мягко улыбается:

— Папа, ты думаешь, правительственные телеграммы почтальоны носят?

— А что, телеграммы сами ходят? — пытается улыбнуться в ответ Утесов.

— Нет, тебе все принесут в театр.

— Ага, принесут они...

— Конечно, я уверена, обязательно дадут...

— Ага, дадут они...

— Точно дадут, сама Фурцева приедет.

— Ага, приедет она...

Дита не выдерживает однообразного брюзжания отца и взрывается:

— А не дадут — так не дадут!

Утесов застывает, как от выстрела в спину. То есть что это значит — не дадут?! Такое даже невозможно представить. Он шел к этому семьдесят лет. Он спел сотни песен. Он покорила сердца миллионов. Он стал воистину народным артистом по сути. Так почему же не стать им и по званию — «народный артист Советского Союза».

Слаб человек! Вроде все у него есть... нет, не вроде, а действительно все: фантастическая любовь зрителей, уважение и зависть коллег, благосклонность высшего руководства; есть ордена и медали, есть звания — «заслуженный» и «народный» России. Да, но — только России... Последнее время он спал мало и плохо. Долго ворочался, забывался кратким сном и вздрагивал, просыпаясь от тревожных сновидений. И дятлом долбила одна мысль: дадут — не дадут?

Дита его успокаивала, но сама, честно говоря, думала о том же. И его коллеги, знакомые, друзья и недруги думали о том же. Прикидывали, судачили, как ильфо-петровские «пикейные жилеты», взвешивали все за и против.

С одной стороны, как не дать, ведь такой человек — кумир, мастодонт, корифей эстрады... Да, но с другой стороны, всего лишь эстрады, а не театра и не кино... С одной стороны — великие песни, но с другой — были ведь и не великие, и даже сомнительные... С одной стороны — конечно Утесов, но с другой — все же изначально Вайсбейн...

А время неумолимо летело, и день юбилея неотвратимо приближался, и вот уже он настал, но до сих пор не ясно: дадут или не дадут Леониду Осиповичу Утесову высокое звание «народный артист СССР».

— А не дадут — так не дадут! — не выдержав, взрывается Дита. — Райкину на пятьдесят не дали — и ничего! Жив, здоров, работает...

— Аркаша — еще мальчишка! — запальчиво возражает Утесов. И махнув рукой, переключается на портного: — Ну что, что? Сколько еще ждать?

Великий портной Затирка флегматично отвечает:

— Гораздо меньше, чем вы уже ждали...

МОСКВА, ТЕАТР ЭСТРАДЫ, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА

Зал Театра эстрады полон — лучшие люди искусства, цвет Москвы и страны: Михаил Жаров и Фаина Раневская, Аркадий Райкин и Мария Миронова, Сергей Образцов и Клавдия Шульженко, Зиновий Гердт и Лидия Русланова...

Слышится ровный гул голосов, все смотрят на пустую сцену, где висят потрет Утесова в лавровом венке и две цифры: «70» — его возраст и «55» — его стаж в искусстве.

И все ждут. Ждут не юбилейной церемонии, не блестящего действия, не потрясающего концерта... То есть, нет, конечно, всего этого ждут, но и так понятно, что это все будет, однако не это сейчас главное. А главное все то же: дадут — не дадут?

Вообще-то, семьдесят лет Утесову исполнилось еще в марте. Но ясности с присвоением звания еще не было. Поэтому и с празднованием тянули, тянули и дотянули уже до апреля. А ясность так и не появилась. Но дальше тянуть с юбилеем было некуда. Тем более что пронесся слух: точно дадут. Вот и назначили день торжества. Однако пока слух оставался слухом. А точно сообщить (или не сообщить) об этом могла лишь министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. Но Фурцевой до сих пор не было.

За кулисами поглядывают на пустую сцену Утесов — в новом костюме, Дита — в платье с мехами и ведущий вечера режиссер Иосиф Туманов — в смокинге с бабочкой. Утесов нервничает:

— Я никогда не заставляю зрителей ждать!

Туманов спокойно парирует:

— Ждут не тебя, а Фурцеву.

Утесов закипает:

— В конце концов, это мой юбилей или Фурцевой?

— Твой, папа, конечно, твой, — поглаживает его плечо Дита.

— Да, Лёдя, юбилей твой, — улыбается Туманов. — И значит, ты уже большой мальчик и понимаешь, что министр культуры сама не решает.

Ну, конечно, он все понимает. Отлично понимает, что Фурцева при всей любви к нему не может просто сама взять и выдать ему «народного» из своего кармана. Понимает, что это рассматривают в разных инстанциях, взвешивают, обсуждают... Да, все он понимает. Он только не понимает одного: какого черта они рассматривают, взвешивают и обсуждают? Он не понимает, какого еще рожна им нужно, чтобы дать ему то, что он сто лет как заслужил!

А Туманов все журчит ему на ухо с ласковостью гипнотизера, что решения такого уровня принимает ЦК и Президиум Верховного Совета, а там и других вопросов хватает, видимо, они до этого еще не добрались, а Фурцева сидит и ждет, и обязательно дождетя...

Тем временем гул голосов в зале нарастает. Многие нетерпеливо поглядывают на часы. Утесов смотрит в шелку занавеса на волнующийся зал и дергается еще больше:

— Оркестр готов?

— Оркестр готов, — заверяет Туманов и добавляет, предупреждая очередные вопросы: — И балет готов, и поздравляющие ждут, и цветы-подарки на месте. Слушай, Лёдя, на эту тему есть чудный анекдот...

— Да что меня сегодня все кормят анекдотами! — взрывается Утесов. — Все, начинаем!

Он решительно направляется из кулис на сцену.

— Папа! — пытается удержать его за рукав Дита.

Но он отбрасывает ее руку. А что — характер! Босаяцкий, одесский характер. Конечно, за долгие годы жизни он пообтесался, пригладился, стал благообразней, научился ждать, терпеть, может даже лишний раз поклониться... Но только до поры до времени. А когда припечет, он не станет вилять и кланяться, он распрямится и пойдет крушить напролом.

Утесов распрямляется и делает решительный шаг из кулисы на сцену... Но на этот раз пронесло: из противоположной кулисы появляется министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева.

Ах, красавица Катерина, Катерина Великая! Ладная, статная, с косой-коронаой вокруг головы бывшая ткачиха привлекла внимание Никиты Сергеевича. И Хрущев поднял ее на небывалую высоту — не только министра культуры, но и единственной женщины — члена Президиума ЦК КПСС. Ну, само собой, ходили сплетни про особые отношения Хрущева с Фурцевой, но не в том дело, ей-богу, не в том. Катя Фурцева была хороша на посту министра культуры. Не для всех хороша, но для очень многих. Рука у нее была горячая, нрав вспыльчивый, кое-кому от нее доставалось под горячую руку. Но при этом она стольким помогла, столько судеб актерских устроила, столько спектаклей спасла от карающего меча партийной цензуры... Нет, она не была диссидентом и борцом за справедливость. Но она была женщина, и вполне могла расплакаться на трогательной постановке или мелодраматическом фильме. А искренние слезы смягчают души и нравы. Так что не зря, не зря назначил ее Никита Сергеевич министром культуры.

Правда, сейчас уже Хрущева нет, но Фурцева еще остается на своем посту. Хотя доживает на нем последние дни. И находится не в лучшей форме — моральной и физической, да и попивает она последнее время. Но сейчас она на высоте — в строгом костюме а-ля «член правительства», на высоких каблуках, с красной кожаной папкой в руке. Зал мгновенно затихает. В абсолютной тишине слышен лишь цокот каблучков Фурцевой. Она подходит к микрофону, открывает папку и безо всяких предисловий начинает читать:

— Указ Президиума Верховного Совета СССР...

Больше она ничего не успевает сказать — зал взрывается овацией. Всем уже и так все ясно. Дали!!!

Фурцева слегка вздрагивает, но ее строгое лицо смягчает понимающая улыбка. Она властно поднимает руку, зал послушно стихает. И Фурцева все-таки дочитывает:

— За большой вклад в развитие советского музыкального искусства присвоить Утесову Леониду Осиповичу почетное звание — «народный артист СССР»!

В зале снова шквал аплодисментов. Таких яростных, как будто это его — зала — личная победа. А застывший в кулисах Утесов вдруг обмякает, словно из него выпустили воздух, и как-то устало и негромко говорит сам себе:

— Дали... Таки дали... Ну и что?..

Он впадает в знакомое всем состояние, когда бессонными ночами напряженно готовишься к главному экзамену, а потом сдаешь его — и наступает полное опустошение. Но Дита торопит отца:

— Папа, иди! Иди же, папа!

Утесов встряхивает головой, мгновенно надевает свою обаятельнейшую улыбку — а как же, профессионал! — и выходит на сцену.

Зал встает и аплодирует стоя. Фурцева вручает Утесову папку. И весомо сообщает всем:

— Хочу отметить, товарищи, что Леонид Осипович — первый... я подчеркиваю, первый артист эстрады... которого партия и правительство удостоили столь высокого звания!

Фурцева выжидающе смотрит на Утесова. И он оправдывает ее ожидания. Серьезнет, делает торжественное выражение лица, настраивает голос на взволнованную глубину:

— Уважаемая Екатерина Алексеевна! Разрешите мне высказать искреннюю и глубокую благодарность за эту высокую награду нашей дорогой коммунистической партии и советскому правительству! — Он умолкает, словно сомневаясь в уместности дальнейших слов, но все же решается и широко улыбается: — И еще спасибо моей родной Одессе!

Екатерина Великая в некотором недоумении чуть приподнимает бровь. Но зал расслабляется и снова восторженно аплодирует. Да еще ведущий Иосиф Туманов, смягчая ситуацию, дает отмашку оркестру, и звучит, пожалуй, самая главная песня Утесова:

*Есть город, который я вижу во сне.
О, если б вы знали, как дорог
У Черного моря открывшийся мне,
В цветущих акациях город
У Черного моря...*

И Утесова уже не удержат, и он уже забыл про официоз и церемониал, и он расплывается в трогательной улыбке, и почти по-дружески сообщает и Фурцевой, и всему залу, и всему миру своим неповторимым голосом — с характерной хрипотцой и одесским говорком:

— Вы ж понимаете, шо многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удастся! Для этого надо, шоб, как минимум, ваши родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Но не все ж могут себе это позволить. А мои — всю жизнь там прожили...

ОДЕССА, ВЕСНА 1895 ГОДА

Волны Черного моря накатывают на берег, сверкая брызгами в ослепительных лучах южного солнца. Но до пыльного переулочка в районе Малой Арнаутской и Привоза море не достает, и солнце сюда пробивается с трудом сквозь тень деревьев и виноградной лозы.

Треугольный переулок, дом 11. Двухэтажный дом и типичный одесский дворик, опоясанный по всему периметру деревянной галереей с железными витыми перилами. Ворота — тоже железные — ведут из двора в переулок. На левой стороне дома — тяжелая резная дверь. Если войти в нее и подняться на второй этаж по очень крутой лестнице с выщербленной итальянской плиткой, то можно добраться до квартирки из трех комнат — две крошечные, окна во двор, и одна побольше, окна на улицу. Здесь живет семья Вайсбейнов.

А на первом этаже, напротив водяной колонки, проживает мадам Чернявская — известная повитуха, принимавшая всех младенцев в этом дворе, и во дворе рядом, и во дворе напротив, и во всех дворах Треугольного переулка и окрестностей. В ее квартиру и врывается поздним вечером разбитная голосистая девка Маня:

— Мадам Чернявская! Хватайте свой чемоданчик и скачите у пятнадцатую квартиру! Мадам Вайсбейн сейчас рассыплется на кусочки!

Грузная повитуха, в платке, заправленном за уши и подвязанном у подбородка, отрывается от пасьянса, который она раскладывала на столе, покрытом вязаной из ниток скатертью.

— Тихо, ша! И почему это в Одессе имеют моду рожать на ночь глядя, когда нормальные люди уже готовы скушать свой штрудель и спокойно отдохнуть...

Продолжая ворчать, повитуха собирает докторский чемоданчик и меняет домашние тапки на уличные чоботы. Маня приплясывает от нетерпения у порога:

— Ой, ну шо ж вы копаетесь, как на похороны!

— Ай, на каждые роды будут свои похороны...

Маня выхватывает из рук повитухи чемоданчик и первой вылетает за дверь.

А в свою квартиру, открыв дверь ключом, устало входит хозяин — Иосиф Вайсбейн.

Он очень аккуратный человек — в отглаженном костюме, в начищенных ботинках, с довольно пышными, но тщательно подстриженными усами и с потертым, но чистеньким саквояжем в руке. Он аккуратно снимает сюртук, обмахивает его щеткой и вешает на плечики. Снимает золоченое пенсне, бережно укладывает в футляр, кладет футляр в комод, а оттуда извлекает простенькие очки, подвязанные веревочкой.

Но тут из соседней комнаты доносится женский стон. И степенный Иосиф, потеряв всю свою размеренность, бросается в комнату, где лежит на широкой супружеской постели его жена Малка. Лоб у нее весь в испарине.

— Малочка, что? Или уже началось?

Вместо ответа врывается Маня, таща за собой повитуху мадам Чернявскую.

— Холоднокровней! — ворчит повитуха. — Это если бы мадам Вайсбейн имела первое дитя, так я бы еще нервничала, а то уже, слава богу, четвертый визит...

Иосиф падает на колени перед женой, хватая ее за руку:

— Малочка, душа моя! Больно, да? Больно?

Малка лишь тихо стонет — черные пряди волос прилипли к мокрому лбу. А повитуха грозно заявляет Иосифу:

— Мосье Вайсбейн, сделайте так, чтобы вас здесь не было!

Девка Маня уже тащит таз с горячей водой. Повитуха расстилает белые простыни. Растерянный Иосиф плетется в кухню. И смотрит, не видя, в темное окно, нервно постукивает пальцами по стеклу. В кухню влетают мальчик Миша и две девочки, Клава и Прасковья, — в длинных ночных сорочках.

— Папочка, папочка, Миша говорит, что у нас будет братик! — кричит Клава. — А мы с Песей — что будет сестричка!

Появление детей мобилизует папу Иосифа, и он с максимально доступной ему строгостью переключается на воспитательную работу:

— Дети, во-первых, вам нужно спать! А во-вторых, кто будет — я не знаю...

— А я знаю — братик! — заявляет Миша.

— Нет, сестричка! — хором возражают девочки.

— Нет, братик! — дергает Клаву за косичку Миша.

— Нет, сестричка! — дает ему тумака Клава.

— Дети, не ссорьтесь! — вмешивается папа Иосиф. — Идите спать!

Появляется сияющая Маня:

— Мосье Вайсбейн, у вас — девочка!

Девчонки прыгают, показывая брату Мише «носики»:

— Сестричка! Ага, сестричка!

Из комнаты зовет повитуха:

— Манька, сюда иди!

Манька убегает. Папа Иосиф уже строго приказывает:

— Все, дети, я сказал: спать!

Мальши нехотя, продолжая тайком шпынять другу дружку, удаляются. Папа Иосиф взволнованно одергивает сюртук и направляется в комнату. В дверях его встречает повитуха:

— Мосье Вайсбейн! Вы будете сильно смеяться, но у вас двойня!

Папа Иосиф столбенеет:

— Как... двойня?

— Так, двойня! — усмехается повитуха. — Представьте себе, это бывает... Девочка, а потом таки мальчик.

— Что же вы сразу не сказали! Какое счастье — второй сын!

— Я вас поздравляю с этим счастьем, мосье Вайсбейн!

Папа Иосиф благостно улыбается, потом спохватывается:

— А как она?

— Ой, не берите в голову! Мадам Вайсбейн такая справная женщина, что может родить вам целый синагогальный хор!

Измученная мама Малка сидит на кровати, опираясь на гору подушек, а рядом — два кулечка с новорожденными: мальчик и девочка, сын и дочь. Папа Иосиф нежно гладит распущенные волосы жены. И смотрит ей в глаза, и молчит, и думает, как ему повезло в жизни.

Впрочем, он сам себе устроил это еврейское везение и счастье. Потому что неожиданно для всей своей зажиточной семьи, да и, честно говоря, для себя самого он не дал

слабину. А поступил, как настоящий мужчина. Так считал он. Или — как настоящий босяк. Так кричал его отец. А было вот что: Иосиф привел в дом родителей невесту. Тоненькую черноглазую девчущку Малку Граник. Из очень бедной, да просто нищей семьи. Отец сказал Иосифу: «Нет!» Иосиф сказал отцу: «Да!» Отец сказал Иосифу: «Я выгнать тебя из моего дома!» Иосиф сказал отцу: «Я сам уйду!» Оба сдержали свое слово. Отец его выгнал, Иосиф ушел. И женился на любимой своей Малочке, и больше никогда не появлялся в родительском доме.

И вместо обеспеченной жизни богатого наследника стал вести тяжкую жизнь лепетутника. На одесском жаргоне «лепетутник» — это мелкий торговец, посредник в разных коммерческих сделках, маклер для разовых поручений... В общем ничего стабильного, ничего определенного — ни работы, ни заработка. Все зыбко, сиюминутно и воздушно. Мудрый Шолом-Алейхем называл таких людей — «человек воздуха».

Папа Иосиф гладит маму Малку по взмокшим волосам:

— Спасибо, родная моя! Два мальчика и три девочки! Или есть кто-то меня счастливей?

— И все это счастье хочет кушать, — вздыхает мама Малка. — Ох, Йося, с другой женой ты бы купался в деньгах, как утки в луже на Слободке...

— Не говори так, не рви мне сердце! Если мои родители не имели души и из-за бедной невесты отказали мне в деньгах, так пусть забирают их на тот свет! Пусть попробуют купить там на эти деньги хоть полфунта любви и благодарности...

Малка слабой рукой гладит руку мужа. Один из новорожденных — мальчик — разражается пронзительным криком. Мама Малка прикладывает его к груди. А папа Иосиф улыбается:

— С таким голосом он будет невроку хорошим кантором!

Одесса начала века — это кривые улочки и прямые бульвары, корабли и биндюжники в порту, церкви, мечети и синагоги, трамвай-конка и рынок Привоз, который круглый год ломился от фантастического изобилия мяса и рыбы, молока и сладостей, овощей и фруктов... Но какое бы изобилие еды ни царило на Привозе, мама Малка никогда не давала детям целое яблоко или пирожное, а только пол-яблока или полпирожного. От этого сладкое казалось еще желанней и слаще.

Удар ножом — и яблоко разделено на две части. Мама Малка выдает половинки на десерт стоящим перед ней детям — старшему сыну Мише и дочери Клаве.

— Спасибо, мамочка! — хором благодарят дети и уносятся.

В семье Вайсбейнов завтрак, обед и ужин — всегда в точно определенное время. И за столом каждый сидит точно на своем месте. Еще удар ножом — и еще одно яблоко разделено на половинки. Одну мама подает маленькой Полине. Вторую половинку вертит в пальцах:

— И где же Лёдя?

— Не жнаю, мамочка! — отвечает Полина, близнец Лёди, не выговаривая половину букв.

Малышка убегает за старшими. Мама Малка раздумывает еще секунду и протягивает пол-яблока папе Иосифу:

— Ешь, Йося!

— А как же Лёдя?

— Ребенок должен знать порядок! Не пришел к обеду — ходи голодный!

— Но...

— Ешь!

Иосиф нехотя берет яблоко, но тут вбегает разбитная девка Маня.

— Малка Моисеевна! Вы побежите, погляньте, где ваш Лёдка!

Папа и мама спешат по галерее второго этажа, опоясывающей внутренний дворик. Откуда-то доносятся звуки скрипки. Мелодия становится все громче.

Вбежав в коридор, они видят трехлетнего сына, свернувшегося калачиком под дверью. Здесь живет учитель музыки Гершберг. И там, за дверью, сейчас поет его скрипка. Мама Малка бросается к лежащему на полу сыну.

— Лёдя! Что ты тут валяешься, как беспризорник! И что подумает маэстро Гершберг?

Папа Иосиф ее останавливает:

— Тише, он спит..

Родители склоняются над уснувшим малышом. Мама бережно берет его на руки.

— Ой, горе ты мое!

Папа поправляет задрвшуюся рубашонку сына. Лёдя открывает глаза, прижимается к материнской груди и сонно улыбается:

— Мамочка... Там хорошо... Там — музыка!..

Мелодия скрипки за дверью становится все нежней и возвышенной.

Совсем другая музыка — разудалая, народная, многоголосая музыка одесской речи — звучит на Привозе, по которому бредет семилетний Лёдя.

— Сахарно-о морожено-о! — тенором заливается мороженщик.

— Кавуно-ов! На разрез кавуно-ов! — басит усатый продавец арбузов.

— Селк! Цисуца! Селк! — шепелявит китаец, торгующий тканями.

— Туфлы грецески! Грецески туфлы, батынки! — бубнит грек-обувщик.

Дородная мамаша со скрипичным футляром в одной руке другой тащит за собой тщедушного пацана в бархатной курточке и с бантом на шее. Мальчик пытается затормозить у тележки мороженщика.

— Мамочка, мороженое! Ну, мороженое!

— Боже упаси! У тебя может приключиться ангина, а потом — менингит головы! Как ты будешь играть на скрипке?

— Но я же играю руками, а не головой!

Этот аргумент не убеждает маму, она тащит вундеркинда с бантом дальше. Лёдя, проводив бедолагу сочувственным взглядом, протягивает торговцу копеечную монетку и важно приказывает:

— На все!

Мороженщик усмехается, берет самый маленький вафельный рожок, зачерпывает круглой ложкой один шарик мороженого, шлепает его в рожок, протягивает мальчику. Лёдя поспешно слизывает стекающую каплю драгоценного лакомства. И хмуро наблюдает, как мороженщик накладывает разодетой девчонке-толстухе целую горку мороженого в самый большой рожок. Девчонка замечает его взгляд, отхватывает немалый кусман мороженого и показывает Лёде испачканный язык.

А Лёдя убегает с Привоза, несется на Итальянскую улицу, мимо тенистых пла-танов, по булыжникам, по кривым улочкам, пересекает Дерибасовскую и вылетает на Николаевский бульвар.

Здесь тоже звучит музыка. Много музыки. По случаю воскресного дня в излюбленном месте прогулок горожан — от здания Городской думы до Воронцовского дворца, где бывал Пушкин — в центре бульвара на круглой площадке играет духовой оркестр. В ресторане под навесом — итальянский оркестрик. А в пивной без навеса — румынский. Играют они по очереди, друг другу не мешая.